

# Анатолий МОЖАРОВ

Родился в 1954 году в Горьком. По окончании биофака Горьковского госуниверситета получил распределение во ВНИИ прикладной микробиологии в подмосковном поселке Оболенск. Учился в аспирантуре Института биофизики АН СССР, кандидат биологических наук. Заведовал лабораторией диагностических препаратов во ВНИИ ПМ. С 1997 года работал журналистом, шеф-редактором журнала «Сафари», главным редактором журнала «Магия настоящего сафари», в настоящее время – главред «Вестника КГО» в «Русском охотничьем журнале».

Автор книг «Смешные и печальные истории из жизни любителей ружейной охоты и ужения рыбы» и «Есть зло, которое видел я под солнцем».

Член Союза писателей России. Живет в п. Оболенск, Московская область.

## МЕЖДУ БЕСОМ И АНГЕЛОМ

### Фрагменты

*Идти от Кадниц до остановки на трассе неблизко, но хорошо, если не слишком торопиться. Дорога прямая, как на картах Нисского, и проложена по открытым местам. Смотришь по сторонам – далеко видно – идешь и рассуждаешь о своем.*

*Я шел, думая о том моменте, когда сяду в автобус и с приятным ощущением того, что можно неторопливо почитать в дороге, открою книжицу мемуаров. О войне. О Великой Отечественной. Небольшая брошюра с невыразительной темно-серой обложкой. Брат только вчера ее купил в городе и вечером привез в Кадницы. Имя автора ни о чем мне не говорило, но книга была о Сталинграде – о тех местах и том времени, когда там воевал отец. Собственно, только под Сталинградом он и успел повоевать до тяжелого ранения и демобилизации. Географические названия – Абганерово, Вертячий, Клетская, Трехостровская – увиденные при первом пролистывании этой брошюры с претенциозным и одновременно банальным названием «Жизнь прожить...» вызвали в памяти печальный прищур отца, хотя он нечасто рассказывал о войне. Вчера внезапность этого воспоминания заставила замереть на секунду дыхание.*

*Пассажиров в пазике, причалившем по мокрому асфальту к остановке, словно колесный пароход к пристани, оказалось негусто, и я устроился поближе к вонючей и горячей печке. Достал брошюру, еще раз без особой надежды вспомнить пробежал взглядом по имени автора (нет, ни о чем не говорит) и открыл первую страницу.*

<...>

Эшелон шел на юг, как нетрудно догадаться, практически без остановок – нам повсюду давали зеленый свет.

Хотя остановки порой все-таки случались. На одной из них нас построили перед вагонами и зачитали последний приказ Наркома обороны за номером 227. Сейчас этот многословный приказ от 28 июля 1942 года показался бы, наверное, нудным – он подробно описывал то, что и так в наше время каждый знает по фильмам и из книг. А тогда я был потрясен откровенностью слов, прозвучавших угнетающе и одновременно очень по-человечески.

«Население нашей страны, с любовью и уважением относящееся к Красной Армии, начинает разочаровываться в ней, теряет веру в Красную Армию, а многие из них проклинают Красную Армию за то, что она отдаёт наш народ под ярмо немецких угнетателей, а сама утекает на восток...»

«У нас нет уже теперь преобладания над немцами ни в людских резервах, ни в запасах хлеба. Отступить дальше – значит загубить себя и загубить вместе с тем нашу Родину...»

«Чего же у нас не хватает? Не хватает порядка и дисциплины...»

«Паникеры и трусы должны истребляться на месте...»

Где-то в середине текста прозвучало «Ни шагу назад!» Эти слова резанули особенно.

«...Цепляться за каждый клочок советской земли и отстаивать его до последней возможности».

«...До последней...»

<...>

Для меня и моих однополчан Сталинградская битва началась 14 августа, когда после двух дней выгрузки из полутора десятков эшелонов в бескрайней степи, неподалеку от полустанка Лог Сталинградской железной дороги, наши новые, начищенные ещё сапоги навсегда покрылись серой пылью нижеволжских степных дорог.

Никто тогда не знал, что для многих из нас Сталинградская битва, едва начавшись, кончится через двое суток.

Шли мы по выжженной солнцем степи, изрытой балками и оврагами, по которой ветер катал похожие на проволочные кустики перекачиполя. Тяжко было идти по песку, но куда хуже было топтать по твердой глинистой земле – пыль из-под ног идущих впереди рот поднималась такая, что впереди буквально в десяти шагах не было возможности хоть что-то увидеть.

Возле дороги оказалась лужа, и из нее некоторые зачерпывали воды, чтобы сполоснуть лицо. Когда наше отделение дошло до этой лужи, вода была похожа даже не на какао, а на кофейную гущу. Ополоснуть этой жижей лицо никто, конечно же, не рискнул, а вот зеркальце пробежало по рукам, и каждый, кто в него посмотрелся, не мог поверить, что это лицо его, а не негра из любимой киноленты юности «Красные дьяволята». Посмотревшись в зеркальце и удивившись своему «загару», подумал: откуда оно взялось? Кто-то ведь додумался, отправляясь на фронт, взять с собой эту бесполезную на войне (так мне казалось) вещицу.

Сколько мы шли, сказать сложно. Может быть, двадцать километров, может быть, тридцать. Наступила ночь, и стрекот цикад в кустах или полевых сверчков начал перекрывать глухой и гулкой топот солдатских ног.

В какой-то момент по колоннам пронеслось «Привал!», и почти сразу прозвучал приказ нашего комроты: «Рота, привал!»

Когда кинул скатку на землю и улегся на нее головой, думал, засну сразу же, но сон не вдруг подкрался. Перед глазами маячили два стоящих близко друг к другу деревца среди голой степи и луна между их вершинками. Повернулся на другой бок, к низкорослому кустарничку на краю небольшой балки. А вот там, наверное, и водится тот самый серый волчок, что должен ухватывать лежащих на краю детей за бочок...

Помню, что приснилось, как пасу гусей в Заречье, и так славно это – жаркий полдень, я босиком, в длинной рубаше, с хворостиной стою

у пруда и думаю, что в другой раз возьму удочку и буду ловить карасей... Команда «Рота, подъем! Строиться!» прозвучала над самым ухом, и мир детских забот рухнул. Когда засыпал, было жарко – разогрелись на ходу, а теперь от холода зуб на зуб не попадал. Скорее подхватил скатку, накинул на себя через руку и голову. Стало немного теплее. Быстро растер руки ладонками от локтей к плечам. Правой – левую, левой – правую. И побежал строиться.

Метров пятьдесят мы прошагали, не больше, как вдруг сзади раздался возглас Ивана Клочкова – его отделение двигалось позади нас:

– Землячок!

Я обернулся.

– А где винтовка?

И тут я не просто проснулся окончательно. Показалось, что меня пробил удар молнии от макушки до крестца. Это трибунал!

– Беги назад скорее! Недалеко ушли. Найдешь – догонишь.

Легко сказать, найдешь! А как ее найдешь во тьме, да еще в степи, где и примет-то никаких не наблюдается?! Но и другого выхода нет!

Бросился, сломя голову, назад. В голове молотком стучит: «Где наше место? Как его найти? КАК ЕГО НАЙТИ?!»

И тут вдруг в воспаленном мозгу всплыло: кусты по краю балочки, где волчок...

А вот вроде та самая балочка! Бегаю вдоль края по кустикам, пытаюсь ногами наткнуться на винтовку. Но нет, ничего нет!

Паника заставляет снова и снова бегать там, где уже все проверил. Стоп! Думай! Смотри по сторонам!

А вон еще балочка. Может, там? Бегу туда, топчусь, а сердце стучит уже где-то в горле.

Два деревца! Там были два деревца! И луна между ними. Впрочем, луна, наверное, уже сместилась. Сколько мы спали? Все еще темно, но восток немного светлее. Что мне это дает? Ничего.

Бросаюсь у края балочки на землю, верчусь туда-сюда. Не видно деревьев!

Бегу к другой, ложусь, поворачиваюсь – вот они, те самые два деревца! Но не так немного. Вскакиваю, перебегаю вдоль балочки, снова ложусь. Опять не то! Снова вскакиваю, снова бегу и тут спотыкаюсь о... свою винтовку

<...>

Потом, после госпиталя я измерил на карте Сталинградской области расстояние между Логом и Новогригорьевской – 17 километров по прямой. По дороге на километр больше. С учетом пересеченной местности, то есть спусков-подъемов, длина пути составит пусть больше – около тридцати. Эти километры с одной ночевкой (вряд ли она продолжалась больше 15–20 минут) и двух попыток немцев отбомбиться по нам с двух самолетов мы прошли меньше чем за сутки.

Задача стояла такая: занять оборону по левому берегу Дона и любой ценой не дать противнику переправиться через реку.

Колкая сухая трава степи, медленный полет орла-могильника в голубом, под облаками. Кажется, здесь не может быть никакой войны, здесь и пуля-то полетит еле-еле, с задумчивостью, и грохот выстрела раскатится тихо и неторопливо, как бы с лентой. Вздрыбленная взрывом почва, рыжий огонь по траве, шепчущий шорох осколков по ковылю и злой, осиный посвист пуль никак не вяжется с картиной этой истомленной, августовской степи, сладко пахнущей по ночам полынью.

Как читатель уже знает, мне мало где довелось до этого побывать, тем более никогда не был на юге, в степях. И, сказать правду, ничего привлекательного я тут не узрел. Особенную досаду вызывала земля. На берегу Дона начали рыть окопы. То есть командиры и мы поначалу считали, что у нас получится вырыть окопы. На самом деле скоро стало понятно, что было бы неплохо раскопать такие ямки, в которых удалось бы хоть как-то укрыться. За день копанья высохшей напрочь земли, похожей твердостью своей на бетон, мы смогли настолько углубиться, что зад выпирал над поверхностью.

Стена огня – знакомый до оскомины образ. Стена пулевого огня невидима, но от этого она не становится менее пугающей. Она все равно стена. Куст, а вот уже и не куст, а дерево, целое дерево с черной листвой вдруг вырастает из черной земли с оглушительным взрывом и пламенной, пугающе неестественной для дерева сердцевинной в самом основании, а потом бежит по сухой и колючей траве рыжий, становящийся быстро бесцветным на солнце огонь.

Как довелось прочесть через много лет в воспоминаниях полководцев, в той степи у малой излучины Дона нам противостояли больше двух стрелковых дивизий немцев, а также венгров или итальянцев. Они успели занять Кременскую, Новогригорьевскую, Яблонский, Шахинский... То есть подошли вплотную к Дону по всей его хитро петляющей малой излучине и грамотно расставили по высотам артиллерию. Обнаружив сопротивление на левому берегу, принялись нас бомбить – раз десять прилетали по 5–10 самолетов одновременно. Мы наводили переправы, они сбрасывали на них бомбы. Лес по берегу реки позволял скрываться от бомбежки, но как только их самолет-разведчик обнаруживал скопление нашей пехоты, с западного берега начинала работать артиллерия. Но к вечеру 16 августа переправа была установлена полностью, и той же ночью части дивизии начали движение на западный берег Дона, занимая плацдарм у Сиротинской.

Нашему батальону повезло – перешли реку не по понтонам, а по основательному деревянному мосту, выстроенному немцами. Когда бомбили переправы, свой мост фрицы почему-то не трогали, видимо, надеялись на реванш.

На правом берегу наш полк сразу бросили на Кременскую.

Когда пошли в атаку, все, чему учили на курсах, поначалу вылетело из головы. Подразделения быстро перепутались, и я никак не мог увидеть своего командира. Однако отработанные на учениях тактические навыки не пропали даром. Мы хорошо рассредоточились – так вражеским пуле и mine труднее найти цель. В какой-то момент донеслось со стороны протяжное «А-а-а-а-а-а-а-а...», и в тот же миг справа от меня солдат подхватил: «Ура-а-а-а-а!» Следом подхватил и я, совершенно потеряв в этот момент страх быть убитым. Дальше все было как на карусели – если бы и хотел рассказать, что я делал, как стрелял, как кричал, не смог бы: все перепуталось в голове. Отчетливо помню только, когда стали под ноги попадаться мертвые немцы, я их перепрыгивал, казалось, что нехорошо на мертвого наступать. И еще навсегда запомнил одного молодого. Он лежал на боку. Пуля попала ему в затылок, глазные яблоки размером с куриное яйцо выскочили из глазниц и повисли на красных жилках.

Две роты немецких автоматчиков оказались неспособными удержать оборону, и для полутора сотен фрицев к рассвету 17-го числа война закончилась одновременно с жизнью. В плен попали только двое.

К двум часам пополудни немцы очухались и ударили по станице артиллерией. Как только прекратился артобстрел, начался налет бомбардировщиков. Показалось даже, что небо почернело от их количества. Уже после я все удивлялся: а где же наши самолеты? Чувствуя себя совершенно уверенно в жарком полуденном небе, люфтваффе четко, словно на параде, перестроились в цепочки и пошли в пике. Хорошо, что немцы успели нарыть тут каких-никаких окопов, так что была возможность попрятаться. Не от прямого попадания, конечно, от осколков, которые с глухим коротким шмяком впивались в землю сразу после оглушительного грохота взрыва. В месте падения бомбы земля поднималась берложным медведем на дыбы и осыпалась на спины необстрелянных солдат, заставляя вздрагивать всем телом – а вдруг это осколок! Но куда страшнее грохота разрывов казался чудовищный свист падающих бомб, именно он заставлял вжиматься в землю поближе брустверу, закрыв голову руками.

Неожиданно в общем гвалте и громе выделился ритмичный стук малокалиберных зениток. Когда только и откуда они успели подойти?! Любопытство взяло верх над страхом, и я осмотрелся, чуть подняв голову над окопом. Управлялись с миниатюрными пушками женщины-зенитчицы, которым в отличие от пехоты невозможно было спрятаться в траншею. Стало неловко перед ними. Будто жертвы, отправленные на заклание, они были открыты со всех сторон, а ритмичная стрельба зениток казалась совершенно бесполезной – никакого вреда бомбардировщикам их выстрелы не наносили. Но вдруг отбомбившийся самолет, который только начал выходить из пике, вздрогнул, выпустил шлейф дыма и, как мне показалось, с воем тяжело раненного зверя пошел на посадку в степь. Через секунды, тянувшиеся долго-долго, к общему грохоту присоединился его предсмертный, оглушительный выдох, и черная гарь из бесовского нутра резво взмыла над степью, чтобы вскоре раствориться под беспощадными солнечными лучами. Попали все-таки!

Когда еще одна подбитая машина пыхнула жаром и, ломая хребет, шею и крылья, грохнулась о землю, стая горгулий с обиженным воем метнулась на запад.

И сразу в атаку пошли не меньше десятка танков и батальон пехоты, прятавшийся, насколько это возможно, за броней машин. Правду сказать, позиция у них была аховая – мы окопались на высоте 222.2, и они были у нас как на ладони. Сначала как черные точки, потом все крупнее, все отчетливее. Наконец, командир приказал начать стрельбу из винтовок. Танки это, разумеется, не остановило, а вот пехоту мосинки немного проредили, и фрицы залегли. В этот самый момент приданная нашей дивизии рота танков рванула в контратаку, и как только загорелся первый из панцерваффе, немцы развернулись и стали быстро удирать! Скорее всего это были итальянцы или румыны, последних тут было больше всех прочих.

Стараясь прикрываться тридцатьчетверками, бросилась в атаку гвардия, и нам как-то с ходу удалось вышибить врага сразу с трех высот. Спустя годы я нашел их в альбоме схем «Великая победа на Волге». Три мало о чем говорящие цифры: 194.4; 136.8 и 141.9. Танки в буквальном смысле слова смяли две артиллерийские батареи врага на этих самых высотах – драпать вместе с орудиями сложно, а вооружение немцы жалели куда меньше, чем свои жизни. Очень экономные в быту они совсем не сэкономили на военном «железе». Несмотря на надежность

карабинов Маузера, в атаку фрицы шли со «шмайсерами», большая часть пуль из которых поражала «молоко». Всякий раз, говоря об этом, наш политрук надсмехался над неразумной тратой патронов немцами. То ли дело у нас: один выстрел из мосинки – минус один враг! Ну хорошо, если ты плохой стрелок – два-три выстрела израсходуешь на фрица, но не два же десятка! А патроны на дереве не растут, их сейчас наши жены, матери и дети делают, проводя у станков по 12 часов в день! К тому же выстрел из трехлинейки может запросто поразить врага за полкилометра, а пулька пистолетного патрона из «шмайсера» вряд ли будет обладать убойной силой дальше полутора сотен метров! Политрук, он такой, умел заражать бойцов задором.

По слухам, немцы в самом деле боялись выстрелов из мосинки – была она добротна, и то правда, – каждый выстрел мы старались ценить. Только ценить получалось, если ты отражал атаку. Когда же атаковал, то сделать прицельный выстрел из винтовки было, скажем так, очень непросто. И потому, как только появлялась возможность обзавестись автоматом ПППШ (убитому солдату он уже не нужен, а делу еще послужит), мало кто ей не соблазнялся. Как ни крути, а пугающую противника плотность огня создает именно автоматическое оружие. Грешным делом, и я во время одной из атак стал обладателем пистолета-пулемета Шпагина с наполовину полным диском патронов. И с тех пор таскал «папашу» вместе с винтовкой. Многие так поступали, поскольку был приказ не принимать в госпиталь без личного оружия, то есть без винтовки, номер которой записан в книжке каждого красноармейца.

Несколько дней подряд враг непрерывно атаковал занятые нами позиции по всему переднему краю, но ничего не добился. Хотя бомбили они нас старательно и с самолетов, и из минометов.

Ну а мы плацдарм за Доном не только удерживали, но и по мере возможности расширяли. В атаку ходили рано утром, пока темно, а днем окапывались и отстреливались от немецких контратак. Как я потом прочел в мемуарах Москаленко, за период боев в малой излучине было уничтожено более 1400 солдат и офицеров противника, а также 8 их танков.

Понимания того, что с той стороны может работать снайпер, не было даже у командиров. То есть об этом говорили, предупреждали, но как о редкости – мол, снайпер не станет расходовать боеприпас на солдата, ему нужен какой-никакой командир. Но в один из самых первых дней пуля угодила Николаеву Кольке в живот. Он бегал за водой и, когда возвращался, не дошел до нашей балочки метров двадцать. Колька упал и взвыл – говорят, выстрел в живот самый болезненный. Я услышал, обернулся и увидел корчившегося в траве Кольку. То, что сразила его пуля шальная, я ни на секунду не усомнился. Выхватил из вещмешка бинты и бросился к нему, сгибаясь в три погибели. Это потом я узнал, что так снайпер ловит простаков «на живца». Склонился над затихающим Колькой, увидел, что вся нижняя половина гимнастерки спереди темная от крови. У Кольки булькало в горле, тело конвульсивно дергалось, и в глазах уже не было жизни. Может быть, он умирал, а может быть, нет, – я не мог понять. Расстегнул у него ремень и, разрывая пакет с бинтами, старался не думать о том, что Колька, с которым мы полчаса назад курили и вспоминали о том, как играли когда-то давно в пристенок во дворе нашего дома в Горьком, и я проиграл ему алтын и еще трижды по копейке, Колька, с которым мы нашли у керосинной лавки тонкую золотую цепочку и поменяли ее в Торгсине на шоколад-

ные конфеты (не знаю, как он, а я тогда впервые ел шоколад), Колька, который так же, как и я, сменил место у токарного станка на место в боевом строю... я старался не думать о том, что мой хороший друг Колька Николаев сейчас перестанет существовать. Нет!

И в этот момент сильным ударом в спину меня опрокинуло на него.

Когда смог открыть глаза, оказалось, что наши с ним лица совсем рядом. Да и не лицо у него уже было, а будто восковая маска желтого цвета с ввалившимися щеками. Колька уже не дышал. Глаза остекленели, из широко и очень некрасиво открытого рта медленно стекала струйкой темная кровь.

Только теперь я понял, что мы с ним стали жертвой снайпера. Я лежал на правом боку, и у меня сильно болела спина немного выше поясницы. Из раны там струилась теплая кровь, от которой намокала гимнастерка. Живот почему-то не болел. Может, пуля застряла в позвоночнике? Попробовал пошевелиться – руки и ноги целы, да и спина туда-сюда ворочается. Больно, но ворочается. Медленно повернул голову и осмотрелся. Мы лежали на самом открытом месте, а совсем рядом протянулась неглубокая водомоина, в которой можно было укрыться. Только чтобы в нее попасть, следовало сделать два или три пируэта лежа, а я понятия не имел, смогу ли вообще двинуться с места. Снова попробовал незаметно шевелиться. Пилотка сползла с головы – с ней явно придется распрощаться. Зато тело вроде бы слушается...

Будь что будет! Один, два, три оборота с дикой болью в спине, и я скатился в спасительную промоину, услышав над собой свист пули. И в тот же миг увидел, как стенка промоины взорвалась прямо надо мной пыльным фонтанчиком, насыпав мне в глаза. Начав крутиться, я не подумал про ППШ, остававшийся все это время у меня за спиной. Но, честно сказать, когда вращался, даже не почувствовал его. Как теперь говорят, на адреналине, видимо.

Увы, мой болезненный трюк стал лишь началом «операции» по спасению собственной жизни. Теперь нужно было остановить кровь и подумать, как вернуться за помощью в балку, где окопались однополчане. Проморгался (три к носу!) и понял, что судьба ко мне благосклонна – промоина тянулась как раз в нашу балочку. Ползти по ней ужом, не показываясь снайперу, оказалось вполне возможно, и после передвижения по-пластунски с несколькими остановками, соскользнул головой вниз к нашим.

– Братцы, помогите! – сделавшийся хриплым голос удивил меня самого.

– Ба! Живой! – ко мне уже спешил всегда сильно окающий Зайцев. – А мы решили, што вас с Колькой обоих тово!

– Меня в спину ранило.

– Сейчас перевяжу. Только вот в санбат тебя не доставить пока...

Я лег на живот, уткнувшись лицом в колкую августовскую траву с резким запахом полыни. Почему-то подумалось: если ночью на ветру он слаще девичьих духов, то когда вот так – вплотную к траве носом, запах резкий, едва ли не тошный.

– Она как диск-от разворочало пулей! – Зайцев сдвинул, не снимая с меня, ППШ к лопаткам, завернул на него гимнастерку. – Повезло тебе! Пуля-то в диск попала! Спину только прицелом пробило. Она как повезло! А рана глубокая, на всю жизнь останется...

Да, мне и впрямь тогда повезло. Хотя вмятина на спине величиной с наперсток в самом деле осталась на всю жизнь.

Кольку мы забрали ночью и в балочке схоронили.

А еще обязан здесь сказать: скорбь по погибшему другу не помешала мне найти свою пилотку – такова проза войны.

<...>

Проза войны – это голод атакующих. Все сухпайки, все запасы были съедены в первые несколько дней. Готовить было не на чем и негде – полевые кухни в атаку не ходили. Поневоле в послевоенные годы мне запали в душу такие строки из бессмертного «Василия Теркина»:

Есть войны закон не новый:  
В отступление – ешь ты вдоволь,  
В обороне – так и смяк,  
В наступление – натошак.

Нам, конечно, вбили в головы известную истину: при ранении в живот шанс выжить есть только у того, у кого желудок пустой. Но если он пустой по несколько дней кряду не только во время атаки, но и во время обороны занятого рубежа, становится совсем несладко. У меня темнело в глазах от сильной головной боли, возникавшей из-за голода. В балках рос терновник, и желудок приходилось набивать его сильно вяжущими маленькими сливами. Радовало, когда отбивали у немцев опорный пункт, а там – еда! Понимаю, что мой возможный читатель сейчас пожегся от этих слов, может быть, даже подумал, что уж он-то ни за что не стал бы есть их фашистские буттер и брод. Ну уж извини, что не соответствовали мы твоим представлениям о чести и достоинстве, такая вот проза войны – ели трофейные консервы, никто не отказывался, только нахваливали.

Водой в степи тоже не особо разживешься, а пить хотелось постоянно, и, как только появлялась возможность, командир отправлял за ней несколько человек с касками и фляжками. Набирали в Дону, пока до него было недалеко, потом в редких ручьях, еще более редких речушках, в прудах, которые тут называли ставкáми.

При этом мы день за днем атаквали, отражали контратаки, немного отступали, больше наступали, иногда было не понять, по какой линии проходит фронт и где наши фланги – ушли вперед или наоборот. Однажды в сумерках мы с Зайцевым возвращались с полными котелками воды в свою балочку, но не дошли метров двести – на склоне очередного оврага нас обстреляли из пулемета. Отлежались с полчаса и попробовали двинуться дальше. Никак! Опять обстреляли. Совсем уже стемнело. Делать нечего, остались ночевать там, куда загнал немец. Утром проснулись от истошного свиста мин. Начался обстрел – снаряды с отвратительным ноющим звуком, от которого подгибаются ноги в коленях, летели над нашими головами с запада на восток и с востока на запад. А потом наши пошли в атаку. На нас! Оказалось, фронт проходил прямо по оврагу, где мы схоронились. То есть вчера в сумерках нас Бог уберег – совсем немного не дошли до немцев.

Начиная с 19 августа атаки противника стали ослабевать. Как я прочел в мемуарах послевоенных лет, немцы собирали кулак для удара по Сталинграду, и комфронтом решил нажать на фланги 6-й немецкой армии, чтобы этот самый кулак если не разжать, то хотя бы ослабить силу удара.

<...>

28 августа нас бросили на Сиротинскую, которая не далась 40-й гвардейской дивизии. Получилось так, что мы подходили к ней с юго-

запада, и через полчаса после марша, в 5.30 утра, началась атака. Вместо того, чтобы в сумерках подобраться поближе к противнику, нас повели с криками «Ура!» по открытой местности чуть ли не за километр. И почти сразу напор гвардейцев захлебнулся под дождем из трассирующих пуль. Пулеметы били с возвышенности, и теперь мы были перед немцами как на ладони. Кто-то падал, кто-то бежал вперед, засвистели и стали рваться вокруг с неистовым грохотом мины. Атака сломалась, бойцы залегли. Но тут вдруг заработали откуда-то взявшиеся «катюши», сразу две машины! Сплошным потоком и с диким воем летели через наши головы огненные стрелы, выжигая позиции врага. Все, кто лежал, поднялись и побежали уже без всяких криков – все равно рев «катюш» не перекричать – к высоте.

Взлетели на нее. Вокруг все горело, горели даже врытые в землю танки, словно деревянные. На хорошо укрепленных позициях живых не было. Только трупы. Много трупов и запах жареной человечины.

А Сиротинскую в тот раз взять мы так и не смогли.

<...>

Утром 3 сентября началось наступление гвардейцев на участке Кузмичи – высота 139.7. Несмотря на то, что артподготовка немцев была в разы сильнее нашей, несмотря на то, что небо усеяли их самолеты, нашим войскам вопреки всему удалось не только выстоять, но и подойти в конце дня к Кузмичам с севера.

А 4 сентября в бой вступила и наша 38-я гвардейская стрелковая дивизия. Всю ночь с 3-го на 4-е мы шли, а на рассвете слышали грохот канонады. Конечно же там, куда мы направлялись. Полтора часа немцы бомбили позиции стрелковых дивизий и танковой армии, которые заняли до нас русло Сухой Мечетки. Полчаса после ночного марша мы с ужасом смотрели, как сотни их самолетов бомбили позиции наших войск, и, едва бомбежка стихла, прозвучало: «Примкнуть штыки!».

Бесконечное поле, изрытое воронками, с горящей тут и там травой, с горящими танками, трупами солдат, непрерывным грохотом взрывов и фонтанами земли, вырывающейся из тела планеты зло свистящими минами.

Я давно уже расстался с ППШ, таскать одну винтовку все-таки полегче, да и пуля снайпера наделала дел – разворотила диск, и ударно-спусковой стал пробуксовывать. Впереди меня бежал командир отделения, справа-слева однополчане. Но продолжалось это все недолго. То один падал, то сразу двое-трое. Я видел это боковым зрением, поскольку чаще смотрел под ноги – степь не гаревая дорожка, да и опять трупы фашистов стали вдруг попадаться на пути.

Свист «своей» мины слышал очень ясно и, когда грохнуло где-то справа, пролетел по воздуху метра два. Удар о землю, и что было дальше, не помню...

Очнулся в зарослях осоки у какой-то лужи. Дико болела голова – контузило. Солнце опять нещадно пекло, и, судя по его положению, полдень уже миновал. Вырывало желчью. Страсть как хотелось пить. Лужица оказалась частью ручейка. Вода проточная – напился, обмыл лицо.

Атака, судя по всему, захлебнулась – никто никуда уже не бежал. Кругом лежали трупы. С отворачиванием увидел, что в ручье выше по течению валяется дохлый фашист. В другое время в подобной ситуации меня наверняка стошнило бы. Но не теперь. Как-то проще я стал относиться ко многому, терпимее.

Пролежал в траве до вечера, а потом где ползком, где короткими перебежками вернулся назад, к своим. И узнал, что из нашего отделения в живых я остался один. В других было не намного лучше.

Следующий день начинался, как повторение предыдущего. Но к 9-ти утра к 1-й гвардейской подоспели с левого фланга части 66-й армии. Во второй половине дня и с правого подошли части 24-й армии, вступили в бой танки 4-й танковой армии. Но об этом я услышал в медвзводе, куда попал с изуродованной осколками мины рукой.

<...>

Сколько раз я представлял себе, как подхватываю падающее из рук раненого знаменосца древко, бегу вперед с разрывающим грудь воплем «За Родину! За Сталина!» и первым достигаю той высоты, за одно только приближение к которой осыпают орденами и медалями. Я никогда не представлял себя убитым и даже раненым, с перекошенным болью ртом, лежащим в пышущей жаром степи, не в силах оторвать от земли голову или волокущим свои перебитые конечности по собственной блевотине, все чаще и чаще изрыгаемой от превосходящей всякую меру боли и потери крови.

Оказалось, что судьбе было угодно сотворить нечто среднее – я подхватил не знамя, а всего лишь пулемет «максим», когда кативший его солдат схватился за грудь и плашмя рухнул в траву. Недолго думая, я закинул винтовку за спину и ухватился за ручку пулемета. Но и мне было отпущено совсем немного времени, чтобы повозиться с этим наследием Первой мировой. После близкого разрыва мины сразу два или три осколка ударили в меня справа, свалив с ног. Один, похоже, разорвал сухожилия повыше локтя, и рука повисла веткой плакучей ивы. Пока пытался прийти в себя, пулемет уже кто-то уволок. Было понятно, что прежде чем продолжить двигаться вперед, нужно перевязать руку, чтобы не болталась – если сама по себе боль была сильной, но терпимой, то любое движение вызывало вспышку в глазах до потери сознания. Придерживая правую руку левой, попытался идти назад, в тыл, но одна нога все время подводила. Падал, терял сознание. Приходил в себя. Поднимался и снова шел. Один раз не в ту сторону, но потом сориентировался.

В медвзводе руку перевязали, но отправить с другими ранеными в госпиталь не было возможности, и пришлось три дня оставаться на передовой. Руку санитар перевязывал дважды в сутки – кровоточила. На четвертый день пришла полуторка, на которую погрузили доживших до эвакуации лежачих. Еще несколько человек, среди которых был и я, ехали сидя. Шофер, спасибо ему, старался огибать рытвины аккуратно, но раненые и сами по себе едва сдерживались от боли, стонали, а некоторые кричали криком. Один в каком-то помешательстве все пытался срывать с себя бинты и постоянно частил непонятными словами то ли на мордовском, то ли на чувашском. В конце концов шофер решил, что лучше будет ехать быстрее, и грузовик с воплями из кузова, которые был не способен заглушить никакой мотор, помчался дальше подобием вырвавшейся из ада дьявольской колесницы. Двое самых тихих по дороге скончались.

Операцию сделали сразу, как спешили с грузовика. Завели в большую палатку, воздух в которой был пропитан запахом карболки, крови и смерти. Уложили на стол, дали выпить спирту и зачем-то сделали три разреза вдоль руки от плеча к локтю. И это все? Да, все. И снова – в дорогу. Повезли в полевой госпиталь.

Полевым он оказался в полном смысле этого слова – под открытым небом. Только перевязку делали в палатках. Врач с измученным взглядом ко всему привыкших глаз быстро осмотрел мою руку и вынес вердикт: «Водянка, пить не давать».

Господи, как же мне хотелось тогда пить! К тому же у меня начался жар. И, по словам соседей, проваливаясь в забытие, я начинал отчаянно бредить. Скоро потерял счет дням, перестал понимать, сколько времени нахожусь в госпитале. Только иногда сознание становилось предельно ясным, и тогда я чувствовал, что смерть притаилась где-то неподалеку. Ждет чего-то. И ждать ей осталось недолго.

– Что у тебя? – словно сквозь вату донесся до меня голос бодрого мужика с перебитой ногой, оказавшегося со мной рядом как раз в тот момент, когда смерть подбиралась потихоньку со стороны головы. Я ее чувствовал, но видеть не мог.

– Пятна какие-то на руке, – равнодушно и еле слышно ответил я.

Он поглядел на перебинтованную в районе локтя руку и вдруг зычно заорал:

– Сестра! Сестра!

Однако на его крик никто внимания не обратил. Тогда он стал непрерывно кричать, добавляя к слову «сестра» еще три-четыре матерных. С кучей грязных, окровавленных бинтов в руках подошла уставшая сверх всякой меры сестра и, посмотрев на него с печальным осуждением, чуть вскинула подбородок: мол, чего тебе?

– Ты видишь, что у него?

– Водянка. Врач сказал...

– Какая водянка, мать вашу! Врача зови!

Наверное, минут через двадцать я увидел идущую ко мне женщину-врача. Запомнились ее огромные карие глаза в круглых очках с темной роговой оправой. Она осмотрела руку и велела срочно идти в операционную. Я поднялся и поддерживаемый сестрой доплелся кое-как до деревенского дома. В комнате, куда она меня завела, не было ни лавок, ни табурета, и сестра сказала, чтобы я, если трудно стоять, ложился на пол, а сама пошла за занавеску, отделявшую «приемную» от «операционной».

Долго лежать не пришлось. Кто-то кому-то за занавеской сказал: «Ну что, готовы? Давайте молодого с газовой гангреной». Оглядываться по сторонам смысла не имело – я был тут один. Значит, это у меня гангрена! Слышать о том, что это такое, приходилось. Неужели останусь без руки? Без правой руки! А как же токарное дело?! Шестой разряд ведь!

Сестра велела вставать, идти за занавеску и ложиться на стол.

– Придется ампутировать, с гангреной шутки плохи, – это была та самая женщина-врач, которая осматривала меня минут пятнадцать назад. Только теперь она была еще и в марлевой повязке на лице, закрывавшей почему-то только рот.

– А можно ниже локтя? Чтобы хоть как-то...

– Нет. Поздно. Может пойти дальше, и тогда уже – конец. Соглашайтесь.

– Режьте, – я зажмурил глаза, и слезы покатились из глаз. Кажется, я никогда раньше не плакал так горько.

Операцию делали под местной анестезией. Когда начали хрустеть под ножом мышцы, я уткнулся врачихе в живот. То ли ассистент, то ли другой врач-мужчина стал кричать на меня. Но врачиха сказала: «Перестаньте! Мальчик нуждается в защите!»

«Какой мальчик? – подумал я. – Это она про меня?»

Мне повезло потерять сознание, когда лучковой пилой с обмотанными бинтом деревянными ручками и тетивой стали пилить кость.

В себя пришел уже на улице, на своей койке-носилках. Тот же бодрый мужичок без ноги, который определил у меня гангрену, сидел на какой-то чурке рядом и улыбался.

– Ну как? Полегче?

– Есть охота... И пить.

Я вдруг сообразил, что не помню уже, когда последний раз ел. Постоянно тошнило, когда приходил в сознание.

– Сестренка, – обратился бодрый мужичок к проходившей неподалеку молоденькой девушке в испачканном кровью белом халате, – нам бы обезболивающего граммов двести и поесть чего-нибудь. Оголодал, сердешный.

Улыбка скользнула по ее растрескавшимся губам, и она кивнула.

– С воскресеньем, крестник! – чуть слышно произнес вскоре мужичок, чокаясь своей алюминиевой кружкой с моей, и с жадностью выпил только что разведенный колодезной водой спирт.

Тем же днем меня перенесли в дом с «тяжелыми»: гангрена, столбняк, ранение в живот...

Первым скончался столбнячный. Он очень просил пить, и кто-то не выдержал его мольбы, дал ему воды. Кажется, он не успел допить, как началась агония.

Кто-то выл от боли, кричал, многие бредили, другие лежали тихо, и такие отходили раньше прочих. Однажды я увидел на досках пола темную лужицу возле носилок тихого соседа. Не сразу понял, что это кровь. Позвал сестру, но было уже поздно – кровь вытекла из человека под носилки, а видна была только небольшая лужица.

Меня же мучили фантомные боли – отсутствующая правая рука болела так, будто ее жгли огнем.

Из десяти тяжелых выжил один. Я.

На той же полуторке с красным крестом меня с другими калеками отвезли к Волге и посадили на колесный пароход «Парижская коммуна» все с тем же красным крестом на трубе. Набитый под завязку ранеными пароход направился вверх и на удивление благополучно миновал обстреливаемый немцами участок реки.

Камышин нас не принял. Видимо, все госпитали были переполнены. Пошли выше, миновали Саратов, Вольск, Хвалынский, приняла Сызрань. Пароход разгрузили и отсюда раненых стали переправлять поездами в глубокий тыл.

Есть такое стыдное слово «понос». На самом деле стыдное не слово, в слове-то нет ничего такого неприличного. Стыдно говорить о самом этом явлении, которое с тобой происходит. Как догадывается читатель (если таковой у моих воспоминаний найдется), это я к тому, что в дороге у меня началось это самое явление. Но скоро стало уже не до стыда. Понос вызвал обезвоживание, и я стал худеть с такой скоростью, о которой нынешние толстяки могут только мечтать, – килограммов на 3-5 за сутки. О причинах этой напасти ни я, ни сопровождавшие нас медики не имели понятия.

Стало тяжело передвигаться, а потом и подняться сил уже не было. Буквально за пару дней по всему телу будто бы стянуло кожу, выступили скулы, ключицы, ребра, глаза ввалились. Выглядел я настолько жалко, что медсестра Фаина плакала, глядя на то, как я убываю буквально

на глазах. Мне давали розовый раствор марганцовки, но толку от него было мало.

Почему сразу не вспомнил верное средство лечения такого недуга, которое знал со времени деревенского детства, понять не могу. Поезд часто останавливался у разных населенных пунктов, жители которых приносили еду на продажу. Когда выяснялось, что поезд везет раненых, кто-то отдавал картошку, овощи с огорода даром, кто-то тащил сумку с продуктами подальше вдоль состава – вдруг найдется покупатель. Как только я вспомнил, сразу попросил Фаину узнать у местных, не могут ли принести черемухи. Ягода уже сошла, но здесь ее собирали, сушили, как потом узнал, для выпекания знаменитого сибирского пирога с черемухой. Принесли в кульке из газетной бумаги примерно с полстакана черемуховой муки – перемолотых вместе с косточками сушеных ягод. Подействовало практически сразу, и уже через два дня я стал ходить. Помогал санитарам, как мог, на станциях выпрашивал у жителей еду, кормил лежачих.

В Новосибирске лежачих погрузили в крытые машины с задней дверкой. Выживших везли в госпиталь, скончавшихся по дороге – на кладбище. Ходячих, как я, со станции отправляли по госпиталям на автобусах.

Условия в госпитале, куда я попал, конечно же, отличались в лучшую сторону не только от полевых, но и от тех, что были в поезде. Имелся даже рентген-кабинет, в котором меня просветили насквозь и обнаружили еще по осколку в ягоде и в позвоночнике. Операцию делали под общим наркозом, после которой я больше месяца спал, лежа на животе.

Потом хотели делать реампутацию, поскольку из плеча торчала кость. Но торчала она совсем немного, и женщина-хирург с огненно-рыжей копной волос, непослушно высовывавшихся кольцами из-под медицинской шапочки, просто сделала надрез, натянула и зашила кожу.

В госпитале я пробыл семь месяцев. Читал книги, которые передавались из палаты в палату, учился писать левой рукой. Открытки домой отправлял каждый день. Теперь мой адрес был постоянным, и мама время от времени присылала письма мне. Я их очень ждал. Первым делом мама написала о том, как они с матерью Кольки Николаева страдали, получив письмо из Сталинграда. Дело в том, что Зайцев до призыва работал там же, где мы с Николаевым. И вот в одном из писем домой он между прочим упомянул, что из двух токарей, которые работали с ним, один убит, а другой ранен, но не написал, который из нас двоих убит. Его мать поняла, что речь обо мне и Кольке, и «порадовала» новостью наших матерей.

В госпитале я пролежал в семь раз дольше, чем воевал, но почти нечего вспомнить. Видимо, мозг блокирует память о тяжелом – о постоянной боли, о запахе страданий и смерти. Были, правда, и радостные моменты – это когда диктор Левитан объявил по радио 2 февраля о том, что войска Донского фронта полностью закончили ликвидацию немецко-фашистских войск, окруженных в районе Сталинграда. Радость была такая, что от перевозбуждения, казалось, грудная клетка вот-вот лопнет. Даже у очень крепких мужиков глаза оказались на мокром месте.